

ЛОКАРМЕН

РАСКРЕЗЪ

Лазарь Кармен

Мурзик

В Одессе нет улицы Лазаря Кармена, популярного когда-то писателя, любимца одесских улиц, любимца местных «портосов»: портовых рабочих, бродяг, забияк. «Кармена прекрасно знала одесская улица», – пишет в воспоминаниях об «Одесских новостях» В. Львов-Рогачевский, – «некоторые номера газет с его фельетонами об одесских каменоломнях, о жизни портовых рабочих, о бывших людях, опустившихся на дно, читались нарасхват... Его все знали в Одессе, знали и любили». И... забыли?..

Он остался героем чужих мемуаров (своих написать не успел), остался частью своего времени, ставшего историческим прошлым, и там, в прошлом времени, остались его рассказы и их персонажи. Творчество Кармена персонажами переполнено. Он преисполнен такой любви к человекам, грубым и смешным, измороженным и мечтательно изнеженным, что старается перезнакомить читателей со всем остальным человечеством.

**Лазарь Кармен
Мурзик**

Только на третий день, после того, как страсти в порту и городе улеглись, Крыса отважился высунуть из своей ховиры лохматую голову. Ховирой его было небольшое углубление в куче из старых рогож, клепок и битой черепицы за таможенной на Карантинной гавани. Он забился туда, как только сверху, с бульвара, после первых звуков подозрительного рожка посыпались наподобие дробисперва робкие, редкие, а затем все более и более частые выстрелы – тра-та-та-та, и когда пал на его глазах Ваня Недорезанный.

Выстрелы эти посыпались неожиданно, в самом разгаре вакханалии, когда тысячи людей, не стесняемых никакой силой, ничьей железной рукой, опьяненных точно с неба свалившейся свободой, точно сорвавшись с цепи – старой, короткой, заржавленной, – разносили громадные пакгаузы, похожие на крепости, разбивали бочки, ящики и предавали все огню.

Это была дикая картина. Все кругом пылало, даже вода, по которой плавали обломки бочек и ящиков и большие круги разлитого масла, нефти и керосина. Яркое пламя со

странным клетотом, шипеньем и свистом кружилось над портом, и в этом пламени, как демоны, метались с искаженными злорадным торжеством и ненавистью лицами красные люди с длинными колеблющимися факелами в руках. Тут, там на возвышениях стояли молодые люди – юноши и девушки и говорили что-то страстно толпе, отчего та пьянела еще больше.

Воздух стонал от звука разбиваемых бочек, ящичков, тысяч разнообразных голосов и громового «уррра!». Горящая эстакада плавилась, и проложенные по ее полотну рельсы, накаленные добела, корчились, извивались, как живые змеи.

Но когда в эту адскую симфонию вплелись новые, совершенно незнакомые звуки сыплющейся дроби, в многотысячной бушующей толпе из портовых босяков, городской черни и «чистой публики» точно что-то порвалось. Но только немногие повернули свои красные, как медь, лица – не то полуиспуганно, не то полувопросительно – кверху. Остальные же не обратили на эти чуждые им звуки никакого внимания. Они или не поняли значения

их, или не могли понять, так как всецело находились во власти глубоко засевшего в них демона разрушения и продолжали предаваться вакханалии – жгли, разносили, грабили.

Были и такие, которые не поняли их по той простой причине, что были невменяемы. Они влили в себя пропасть разных вин и валялись без чувств, сжимая в руках бутылки и обняв бочки.

Крыса, будучи трезв, также повернул лицо кверху, и то, что он увидел, заставило его вздрогнуть. Сквозь багровую завесу, там, высоко над портом, над обрывом, поросшим травой и мелким кустарником, на бульваре он увидел колеблющуюся массу рыжих лошадей, красные лампасы и прямые линии игл, сверкавших, как молнии. Иглы эти словно пронизывали порт, и меж ними мягко и любовно вились светло-розовые клубки дыма.

Крыса все понял.

Он в то время стоял рядом с известным всему порту стрелком Недорезанным.

Он встретил его за пять минут до этого. Недорезанный был сильно навеселе и, как рождественский дед, увешан и нагружен вся-

ким добром. Через плечо у него висели напо- добие хомута несколько связок сушеных гри- бов, из карманов грязного пальто выглядыва- ли коробка с финиками, пачка листового ту- рецкого табаку, мандаринки, кусок шелку, а из-под мышки – золотое горлышко бутылки с редерером.

Крыса остановил его и, указывая на бутыл- ку, сказал ему:

– Угости, товарищ, щимпанским! Пом- нишь?... Вместе уголь грузили!

– Чудак! – пожал плечами Недорезанный. – Пошел бы вон туда! – Он указал ногой на пак- гаузы, облепленные людьми, как муравья- ми. – Там этого... щимпанского, малаги и вся- ких портвейнов до черта! Хоть распоясывайся и купайся!

– Не хочу! – помотал головой Крыса.

– Фу-ты! – рассердился Недорезанный и, ударив золотое горлышко бутылки о камень, крикнул повелительно:

– Скорее подставляй кучму!

Крыса подставил свою облезлую баранью шапку, выкрутив ее, как чашу, и тот наплес- кал в нее шампанского. Он расправил рука-

вом свои спутанные, грязно-бурые усы, крякнул и хотел уже поднести драгоценный нектар ко рту, как вдруг увидел эти красные лампы и холодные стальные иглы.

– Видишь? – сказал он дрожащим шепотом Недорезанному.

– Что? – спросил тот с беспечностью пьяного.

– Солдаты... Вон и казаки...

– Ну так что?

– Душу отнимут, товарищ... Плейтуем – бежим!

– Ишь что выдумал!

Мимо них с гиком и свистом, с факелами в руках пробежало человек сорок. Они ворвались в управление капитана порта.

Послышался звон стекол, треск оконных рам, дверей, и управление вмиг вспыхнуло, как стог сена.

– Уррра! Ай да золотая рота! – заорал, вскинув высоко кверху левую ногу и руку, Недорезанный.

– Чего же не пьешь? – спросил он Крысу. Крыса, держа в обеих руках импровизированную чашу, не сводил глаз с красных лампа-

СОВ.

«Дзинь!» – послышалось вдруг.

Что-то с сильным звоном шлепнулось о бутылку, которой Недорезанный в экстазе потрясал в воздухе, и она разлетелась вдребезги.

– Черт! – выругался Недорезанный.

– Пуля, – с трудом выговорил Крыса.

Недорезанный нагнулся. Он хотел подобрать пулю, но в это время другая шлепнулась ему в лоб. Недорезанный упал навзничь.

Крыса увидел на его лбу, над правым глазом небольшое отверстие, из которого струилась кровь и тоненькими ручейками сбегала по его помертвелому лицу. Глаза у Недорезанного сделались огромными и смотрели на Крысу с изумлением.

Крыса растерялся. Он машинально поднес ко рту шапку, отхлебнул немного шампанского, уронил ее и бросился прочь. Он хотел спрятаться, уйти подальше от этих стальных игл и пуль, которые теперь, как мухи, носились в воздухе и равнодушно падали в густую толпу, в море народа, поражая кого попало – женщин, стариков, детей. Но куда?

Ему на каждом шагу преграждали дорогу

бегущие люди, разломанные ящики, бочки, кучи кирпича, железные обручи, обгорелые вагоны, брезенты и огонь... огонь...

Этот проклятый огонь полз на него со всех сторон, обжигал ему грудь, волосы, и Крыса чувствовал себя, как мышь в горячей мышеловке.

Временами, после многих усилий, ему удалось выбраться на простор, но сейчас же его подхватывала живая лавина и уносила с криками «ура», дикими завываниями и свистом вперед. Против собственного желания он очутился в одном пакгаузе, где куча народа с остервенением вспарывала мешки с кулевой мукой и топтала их, потом – на пылающем пароходе и был свидетелем самых ужасных сцен.

Какой-то парень сунул даже ему в руку факел и крикнул:

– Вира, товарищ! Поджигай!

Крыса подержал несколько минут факел в руках, а затем отшвырнул его.

В последний раз его отнесло к возвышению – к сахарной бочке, на которой стояла деушка в белом и в соломенной шляпке. Вся

освещенная заревом, она размахивала зонтом и о чем-то страстно говорила. Публика ревела и бесновалась.

Но Крыса ничего не понимал из того, что она говорила. Страх отнял у него способность сосредоточиться на чем-нибудь. Он только разбирал одно слово:

– Товарищи!.. Товарищи!..

Но вот толпа подхватила девушку и, держа ее высоко над головой, понесла к концу мола, где так недавно лежал застреленный матрос.

Здесь ее бережно поставили на новое возвышение и заставили говорить снова. Она стала говорить. Кто-то крикнул:

– Шпик!

– Где?! Где?!

Несколько человек указали на тщедушно-го человека, и толпа с палками и кулаками ринулась на него...

* * *

Крыса напугав все силы, вырвался из железных тисков и побежал опять, перепрыгивая через горящие тюки, ящики.

По одной стороне горели пакгаузы, а по другой, на воде – пассажирские и грузовые

пароходы.

Крыса видел, как стены и крыши пакгаузов из толстого волнистого железа корежатся, свертываются в трубки и как изнутри, точно из пылающих горнов, выбегают люди, красные люди, и тащат кто кулек с кулевой мукой, кто ящик с консервами, кто кучу новых дамских ботинок, кто голову сахара.

Под стеной одного пакгауза он увидел Мишу – Купеческого Сынка.

Купеческий Сынок был таким же портовым рабочим-угольщиком, как и он. Они не раз работали вместе на кардифе, на английских судах.

Мишка, видимо, здорово хватил, так как лежал в беспамятстве, вытянувшись во весь рост и уткнувшись носом в лужу, от которой сильно несло спиртом.

Крыса заметил, как от пылающего пакгауза отделились две кровавые змейки и осторожно поползли к Мише. «Боже! Он сгорит!» – подумал Крыса. Но он не остановился, не оттащил его в сторону, а побежал шибче.

Крыса сейчас на каждом шагу сталкивался с людьми, потерявшими точно так же, как и

он, голову.

Толпа протрезвилась. Запертая в порту, она металась из стороны в сторону, как испуганное стадо. Она искала защиты от пулеметов, которые осыпали ее непрерывным свинцовым дождем.

Люди прятались за ящиками, бочками, кучами угля, черепицы, но пули доставали их всюду.

Вот, описав яркую дугу густым факелом, упал здоровенный босяк; упала как-то странно, на бок, молодая, прилично одетая женщина в весенней шляпке и перчатках, увлекаемая за собой пятилетнюю девочку.

– А-а! – вскрикнула она, и ее крик, подобно ножу, полоснул его по сердцу...

Крыса долго и бесполезно кружился в толпе, пока его чудом не вынесло за таможеню, на Карантинную гавань и не натолкнуло на ховиру. Здесь он был в полной безопасности.

Это, однако, не помешало ему провести тревожную ночь. Всю ночь он дрожал и боялся, чтобы огонь не перебросило на Карантинную гавань.

Из своей норы он видел зарево. Оно зато-

пило полнеба наподобие реки в половодье. Зарево часто и зловеще прорезывал острый и блестящий, как сталь, меч прожектора с броненосца.

Крыса также слышал эту ужасную дробь – та-та-та-та – и вой обезумевшей тридцатитысячной толпы.

Мимо него пробежали один за другим, озираючись, несколько человек без шапок, с всклокоченными волосами. Один вскарабкался на невысокую каменную стену под обрывом, ведущим в парк, перемахнул через нее и, скомкавшись и сделавшись похожим на ежа, осторожно пополз наверх. Другой как-то странно присел на корточки – и ни с места, как заяц.

Крыса заснул только под утро.

Был полдень, когда он проснулся. Зарева больше не было видно. Вместо него кой-где низко стелилось пламя, но выстрелы слышались еще, хотя реже прежнего. Вдруг всю набережную потрясло так, точно в воду обрушился мол. Крыса помертвел.

«Началось!» – вырвалось у него.

Спустя некоторое время послышалось сно-

ва оглушительное: «Ба-а-а-ах!»

Крыса беспомощно заметался в своей ховире. Он с минуты на минуту ждал смерти.

Прошел час-два напряженного ожидания, но третьего выстрела не последовало.

В таком ожидании Крыса провел весь вечер.

Когда он проснулся на третий день, кругом было тихо. Небо чистое, синее. Мимо спокойно прошли два человека – моряк и чиновник с папиросой в зубах. Из беседы их он узнал, что броненосец ушел, что много народу перебито и город на военном положении.

Крыса набрался смелости и полез из ховиры. Он расправил онемевшие члены и направился к Таможенной площади.

Никогда площадь не была так пустынна, как сейчас. Все винные и съестные лавки, погребки, английские таверны, приюты, трактиры и обжорка были заколочены. Посреди, звонко постукивая о гранитную мостовую тяжелыми сапогами и шашками, расхаживал патруль, и кой-где к фасадам домов робко жались оборванные фигуры босяков.

Крыса почтительно обошел патруль и под-

ковылял к двум босякам, стоявшим у Приморского приюта. Один, высокий, плечистый, с сизым носом, был сносчик Костя, другой – полужалыщик[1] Сеня.

– Жив? – презрительно спросил Костя.

– Жив, – ответил заискивающе Крыса.

– А я думал, что перевернулся.

– А много народу перевернулось, – сказал со вздохом Сеня. – Говорят, тыщу человек наберется.

– Какой там тыщу! – ответил Костя. – Больше. Сейчас только три платформы с покойниками провезли. А погорело-то сколько!

Крыса вспомнил про Мишу и побледнел.

– Там, где пили, там и крышка.

Костя вдруг сделал блаженное лицо и сказал, звонко прищелкнув языком:

– Зато выпито было сколько! Мам-ма!.. Я один пять посуды шампанского выдул, две маляги и одну рому, а Гришка Косарь – целый бочонок портвейну. Вот крест. Дай бог в другой раз не хуже!

Крыса нахмурился и проговорил мрачно:

– Счастье большое! Душу чертям за выпивку продали, порт разорили. Была корова, а вы

взяли ее и зарезали. Идолы!

– А много нам от этой коровы молока перепало? – сердито спросил Костя.

– Сколько бы не перепало, жить можно было.

– Тебе-то ничего... жить можно было, потому что много тебе надо, дикарю-обормоту... Тоже жизнь!.. Без бани!.. Обжорка!.. А это ничего, что порт сторел. Не умерли еще рыбалки,[2] косовицы и Юзовка. Сегодня же заберу причиндалы, велю на прощанье в «Испании» завести машину, пусть «Сухою корочкой питалась» сыграют, и марш в дорогу.

– Тебе хорошо, – проворчал завистливо Крыса, – ты молодой, здоровый, а мне – шестой десяток. Куда денуться?

– А нам какое дело?!

– Эх, нехорошо, грешно! Крыса покачал головой.

– Чего?

Крыса скривил рот и хрипло и с фальшивой улыбкой спросил:

– Ты тоже... поджигал?

– Да! – ответил Костя, смело посмотрев ему в глаза.

– А знаешь, что за такую штуку тебя могут по закону?...

Лицо Кости исказилось злобой. Он придвинулся к Крысе, схватил его за ворот и спросил грозно:

– А ты, может быть, капать, доносить?

Он развернулся, и Крыса отлетел шагов на десять в сторону.

Крыса неуклюже поднялся с земли и, прихрамывая и косясь испуганно на Костю, заковылял по направлению к эстакаде.

– Только попробуй капать! – крикнул ему вдогонку Костя. – Останешься доволен!

Крыса заковылял шибче и заплакал.

Крыса плакал не столько от боли, сколько от того, что порт разорен, погиб и вместе с ним погиб и он – типичнейший представитель его.

То, что произошло на его глазах, представлялось ему диким, преступным, непоправимым.

Порт был его логовищем в течение сорока лет, и он чувствовал себя в нем превосходно, как истый портовый дикарь. Его не смущали ни смрадные приюты, ни обжорка, где кор-

мят падалью.

Семь лет назад в порту организовалось портовое санитарное попечительство. Крыса фыркал и ворчал. Они так свыклись с грязью.

А когда отстроилась столовая, чистая, со свежей пищей, они игнорировали ее. Ходили назло в обжорку. Они восставали против всяких новшеств.

Но вот настало время, когда жизнь в порту стала невыносима, и все чаще и чаще стали раздаваться молодые протестующие голоса:

– Так жить нельзя!

– Мы работаем, как животные, нас бьют угольными кадками, лебедкой, мы гибнем в трюмах, задыхаемся в угольной и пшеничной пыли, и какая награда за все?

– Спим в сорных ящиках, мерзнем в вагонах на набережной!

– Наживаются всякие Родоконакки, Карпатницкие, Траппани, Плюгины!

– Долой Плюгина!

– Баню пусть дают нам!

Больше всех протестовал Костя. Он грозил кулаком городу, повисшему над портом своими роскошными палаццо, вылощенным гос-

подам, сидящим на эспланаде и потягивающим через длинные золотистые соломинки из граненых бокалов гренадин и мазагран.

– Кровь нашу пьете!

– Погодите!

От этих смелых речей у пропитанных алкоголем и живьем разлагающихся дикарей замирали сердца. Спокойствию и скотскому житью их грозила опасность.

И вот от пламенных протестов и угроз новые, ненавистные им люди перешли к делу...

Крыса, ковыляя к эстакаде, вспомнил приход броненосца, тысячные толпы, палатку, матроса. Матрос лежит, накрытый красной материей, спокойный, со скрещенными руками. В голове мерцает свеча...

«Потом, потом, господи!..» Все завертелось перед ним, заплясало, окрасилось пламенем...

Крыса вспомнил дальше, как в отчаянии он метался в обезумевшей толпе, дергал за рукав то одного, то другого босяка и слезно умолял:

– Брось! Опомнись! Себя же и всех нас губишь! Ему удалось у одного вырвать факел. Но прочие не слушали его. Толкали его, смея-

лись, и он плакал, глядя, как пылают пароходы, пакгаузы, эстакада, клепки. Ему казалось, что конец света настал.

Море, небо и земля были красные. О брекватер разбивались огненные волны, и вместо брызг над ним носились искры.

И среди этого моря огня Крыса видел одного Костю. В своей расстегнутой синей голландке, босой, с копной спутанных волос, он казался вдвое больше обыкновенного. Лицо его было искажено торжеством и злорадством.

Как ураган носился он по набережной, размахивая факелом...

* * *

– Товарищ! – услышал вдруг позади себя Крыса. Он вздрогнул. Перед ним стоял Вавило Апостол, старый дикарь-угольщик. Вид у него, как и у всех дикарей, был пришибленный.

– А! Здорово! – обрадовался Крыса. – Ты как же цел остался?

– Богу карантинному молился.

– В бочке или вагоне?

– Зачем? В баржане. Нас там пятьсот чело-

век молилось. Менты заперли и три дня не пускали, боялись, что к сицивилистам и матросам пристанем и хай делать будем. Ну, и досада же брала нас! Там, понимаешь, в гавани щимпанское пьют, малагу дуют, водку и коньяк ведрами хлещут, всяку штуку, а мы тут как дураки сиди. А ты, товарищ, пробовал это самое щимпанское? В жизни ни разу не пил его.

– Попробовал.

– Какое оно на вкус?

– Да ничего.

– Счастливый, – промолвил с завистью Апостол.

– Будет теперь всем щимпанское, – проговорил угрюмо Крыса. – Все подохнем с голоду.

– Ох-хо-хо! – вздохнул Апостол.

– Деньги есть? – неожиданно спросил Крыса.

– Откуда оне взялись?...

– Смерть как жрать и пить хочется. Крыса сделал кислое лицо.

– Боже! – продолжал он тоскливо. – Такой порт разорить! И главное: за что?! Захотелось чертям устроить все по-французскому. Чтобы

никакого начальства. Ну, да показали же им, как без начальства! С нами, брат, не шути! У нас войск больше, чем ангелов на небе...

– Тебя бы в генералы от инфантерии про-
извести, – усмехнулся Апостол, – всех бы изру-
бил.

– А ты думаешь, пожалел бы?! Так бы ру-
бил их, мерзавцев, бунтовщиков! А ты тоже,
брат, гусь лапчатый!

Крыса пронзил Апостола злым взглядом.

– Чего?

– Жалеешь, что не поджигал вместе со
всей этой сволочью.

– Что ты?! Господь с тобою! – замахал на
него руками Апостол. – Сам знаешь, как я за
порт наш стою.

– Будет!..

Крыса опустился на дубовые балки в
нескольких шагах от эстакады. Апостол, охая
и кряхтя, – ему шел восьмой десяток, – после-
довал его примеру.

– Слышал про Купеческого Сынка? – спро-
сил Апостол.

Крыса насторожился.

– Сгорел. Один уголь остался. Зяблик тоже.

Его под бочкой с хересом нашли, под краном. Эх! Много их погорело! А этого, как его, помнишь, народного учителя, который на носилках работал? Шесть пуль ему в бок и в грудь всадили. В больнице лежит.

Апостол задумчиво и медленно покачал головой и продолжал повествовать тихим старческим голосом:

— Что было! Что было, товарищ! Сегодня видел на площади, как поливальщики кровь с мостовой шлангами смывали. Точно грязь...

Крыса слушал рассеянно. Он все внимание свое обратил на эстакаду, на эту главную артерию порта.

Три дня еще назад по ней гнали из-за заставы, за десять верст, тысячи вагонов с зерном, пшеницей, овсом, кукурузой и макухой. Их гнали в Карантинную гавань, где в бухте теснилась целая флотилия английских и индийских судов, жадно раскрывавших свои пасти. А теперь!

Она была разрушена огнем больше чем на версту, и по обугленным краям широкой бреши ее, как пустые рукава, висели красные рельсы. Огонь, желая, очевидно, похвастать

своею мощью, скрутил один рельс в спираль, а другой, как самую обыкновенную нитку, завязал в узел. Движение по ней было прервано.

Крыса указал рукой на эстакаду и спросил:

– А это для чего они сделали? Мешало им?

Будут теперь плакать полежалщики и элеваторщики.

– Сносчики плакать не будут, – робко заикнулся Апостол. – Больше работы им.

– Пожалуй, – согласился Крыса. – Они давно сами с удовольствием спалили бы эстакаду.

Беседуя, Крыса медленно оглядывал набережную, и лицо его становилось мрачнее и мрачнее. Гнев закипал в нем с прежней силой. На месте цветущего порта чернели одни кучи мусора, битого стекла, жалкие руины без крыш, с провалившимися ступенями, и кругом пахло гарью.

Он остановился наконец на большой обгорелой деревянной коробке. Она валялась под эстакадой.

– Хорошая была ховира, – протянул Крыса мечтательно.

Апостол посмотрел в ту сторону, куда смотрел Крыса, и подтвердил:

– Хорошая.

Эта коробка была сорный ящик, куда дикари прятались от полиции во время облавы и во время безработицы, когда у них не было четырех копеек на приют.

– Хоть бы это пожалели. Дьяволы!

– Слышал я давеча одного оратора, – проговорил, точно про себя, после продолжительной паузы Крыса, – студента! Стоял на бочке, махал красным платком и колеса наворачивал всем. Тра-та-та, тру-ту-ту! Социализм, равенство, пролетарий и еще что-то насчет фабрикантов и помещиков дудил. А я слушаю, слушаю и думаю: «Молодой еще, молоко на губах у тебя не обсохло, а с богом воюешь. Хочешь перевернуть мир...»

Товарищи, увлекшись разговором, не заметили, как к ним подъехали два грозных на вид конных стражника.

– Вы что тут?! – гаркнул один и поднял нагайку.

– В участок хотите?!

– Социалисты!

– Какие мы социалисты! – пролепетал Крыса. – Мы угольщики!

– А, разговаривать?!

Стражники наехали на них, и они шарахнулись в сторону.

Крыса пошел бродить по набережной. Ему хотелось полностью увидеть картину разгрома и пожараща.

Было пусто и дико. Так пусто и дико, что Крысе жутко стало. Он с грустью вспомнил, что здесь делалось недавно.

Гремели десятки паровых кранов, лязгали якорные цепи, звенело листовое котельное железо, ревели тысячи быков, ржали лошади, блеяли овцы; как черные муравьи, копошились всюду – во всех гаванях, на палубах, сходнях, в трюмах, на эстакаде, под эстакадой – босяки; банабаки весело лопочут на своем гортанном языке – «Ахшамхайролсун, сабаныз, хайролсун». Московская артель, облепив конец, как мухи кусочек сахару, волочит по сходне с палубы железные части молотилок или куски чугуна, подбадривая себя «Дубинушкой»: «Эй, у-ухнем, зе-е-леная сама пойдет!» Здесь выгружают каррарский мрамор,

хлопок, мессинские апельсины, клепки, марсельскую черепицу, копру, изюм, кардиф, там нагружают пшеницу, сахар, свинец, лес, быков.

Быков поднимают высоко над трюмом, как щенят, и они жалобно мычат и дрыгают ногами. Вот громадный бугай с длинными и острыми, как штыки, рогами. Он не дает себя захомутать, ему не нравится полет к небу, и он вырывается из рук проводников.

Он наконец вырвался и мчится вдоль набережной. Глаза – навывкате, изо рта бьет пена, рога наклонены для смертельного удара. И все шарахаются в ужасе.

Мчатся, как на пожар, биндюги с мукой, сахаром, миндалем, кофе, рисом, крупой, оставляя позади длинные, узенькие дорожки того и другого товару, на которые наподобие стаи птиц слетаются бабы и ребятишки; сотни пассажиров спешат на дрожках на пароходы, отходящие в Крым и на Кавказ; гудят пароходные гудки, дым из сотен труб окутывает всю пристань... Море народу, звуков! А джоннов-англичан сколько! Хороший народ джонны! Подойдешь к одному и скажешь:

– Мистер! Гив ми смок!

Он, ни слова не говоря, залезет в карман, достанет плитку прессованного жевательного табаку и даст тебе...

А сейчас!

Нога Крысы скользила и увязала то в тесте из муки, то в куче из коринки, халвы, пшена.

«Господи, – подумал он, – сколько зря товару просыпано!»

Нога его также натыкалась на полуобгорелые, длинные, соломенные колпаки от ламповых стекол и бутылок. Они были разбросаны вокруг.

Поравнявшись с разрушенным зданием управления капитана над портом, Крыса остановился. Его заинтересовал экипаж, стоявший около. В экипаже сидели две элегантные дамы.

Рядом стоял господин в лимонном пальто и цилиндре и что-то говорил им.

Крыса придвинулся поближе, чтобы услышать, о чем говорят. Господин рассказывал о погроме. Он поднял наполовину истлевший соломенный колпак и пояснил дамам: вот этим самым колпаком «они» поджигали. Они

насаживали его на палку, и он служил им факелом.

– Какой ужас! – воскликнула пожилая дама. – Это звери, а не люди.

– Н-да, знаете...

Крыса решил стрелкнуть. Он сделал шаг вперед, снял шапку и проговорил:

– Господа добрые!.. Явите милость! Три дня не ел...

Господин вспыхнул, лицо его под цилиндром сделалось похожим на вареного рака, и он внушительно сказал ему, погрозив увесистой тростью:

– Я тебе!.. Проваливай, а то сейчас в участок!.. Надежда Петровна! Не угодно ли?! Вот эти самые и поджигали!

– Да?!

Молодая дама вскинула лорнет и воззрилась на Крысу.

– А вы знаете, – проговорила она мелодично, – они действительно похожи на поджигателей, настоящий ломбрововский тип... N'est ce pas, maman?...[3]

Крыса, опасаясь скандала, пошел прочь, показав аристократам громадную брешь на

заду, в брюках...

* * *

Подвигаясь меж развалин, куч обгорелых клепок, битого стекла и всякого мусора, Крыса повстречался с фотографом-любителем, делающим снимки, несколькими гимназистами и группой из двух девиц и студента. Горсточка эта составляла почти всю публику порта. Она пришла посмотреть на пепелище.

Крыса на минуту остановился у станции Одесса-порт. Когда-то, летом, станция эта была излюбленным уголком в порту. Каждые полчаса отсюда уходили длинные зеленые поезда, увозя на Куяльницкий и Хаджибейский лиманы тысячи пассажиров, жаждущих исцеления, больных ревматизмом, всякими искривлениями костей, золотухой. Здесь заработать всегда можно было дикарю. Внесешь в вагон на руках ревматичку-еврейку, ползающую по земле ужом, – и у тебя пяточок на шкал водки. А сейчас вместо станции – одни обгорелые, тонкие столбы.

Крыса постоял немного и над обгорелым сахарным вагоном, валявшимся рядом. Он стоял над ним, как над могилой. В дни нена-

стья, безработицы и во время облавы, когда полицейские устраивают на беспаспортных охоту, как на волков, этот вагон так же, как и сорный ящик, служил ему надежным убежищем.

А вот обгоревшие пароходы! На воде, в двух шагах от берега, стоял пассажирский пароход без мачт, труб и капитанского мостика. Как ключья старой одежды висели на нем железные и стальные обшивки, и весь он был черен, искривлен и похож на сильно поношенный галош. Рядом из воды выглядывала труба английской шхуны.

На берегу толкались с баграми и кошками несколько босяков и выуживали из воды все имеющее ценность – бревна, шапки, железные листы. Два приличных господина и дама разглядывали сваленные в кучу на земле блестящие глыбы сталактитов из сварившихся в огне гвоздей.

С не меньшим любопытством разглядывали они кучу пустых бутылок. Один господин читал вслух:

– Ямайский ром, коньяк, мумм, клико, редерер, бенедиктин, марсала!..

– Ого-го!

Бутылки, как и гвозди, размякли в огне и поражали странностью своих форм. Огонь вылепил из них, что ему угодно было. Из одной – букву «З», из другой пряничную лошадку, из третьей – китайского болванчика, а остальные он слил по три, по четыре вместе и вылепил что-то похожее на снежную бабу, на калач, на башенку...

Пока одни разглядывали бутылки, по рукам остальных ходили куски из сине-красного гранита. Гранит, весь испещренный трещинами, валялся на земле и при одном прикосновении к нему рассыпался в порошок.

Крыса свернул на правый берег, застроенный пакгаузами, и неожиданно натолкнулся на любопытную картину: штук тридцать баб и мальчишек, сбившись в тесную кучу, как насадка с цыплятами, возились над рельсами рядом с пакгаузом. Пространство между рельсами на несколько аршин было залито какой-то черно-коричневой и липкой массой, похожей на лаву. Масса эта в одном месте совершенно закрывала рельсы.

Почти вся публика была вооружена сека-

чами, молотками и колотила по ней изо всей силы.

Масса поддавалась слабо. Вяло отделялись куски ее, и публика поспешно отправляла их в корзины, мешки, передники, а кто просто за пазуху, в карманы и шапки.

– Что это? – поинтересовался Крыса у безносой бабы.

– Сахар, – прогнусавила она с улыбкой.

Крыса поднял отколотый кусочек и отправил его в рот. Точно! Это был сахар, только перегорелый, горький.

– А что с ним делать будешь? – спросил он у той же бабы.

– Как что?! Квас подслащивать, пилав... Пройдя еще несколько шагов, Крыса увидел другую картину. На земле лежала опрокинутая пустая бочка из-под патоки, а в ней, скрючившись, сидел босоногий мальчишка и слизывал языком со стенок остатки.

Крыса заглянул в ближайший пакгауз и остолбенел: крыша его провалилась, и под нею, в грудях золы, в одном из уголков робко прятался еще кусочек огня – остаток бушевавшей стихии...

Крыса поплелся в конец мола, откуда люди, обливаемые свинцовым дождем, бросались в отчаянии в воду. Потолкавшись здесь немного, он зашел в другой пакгауз Русского общества, самый большой в порту. Огонь почему-то не тронул его, но зато внутри все было выжжено и разграблено.

Когда-то пакгауз этот снизу доверху был набит миндалем, рожками, рисом, корицей, ванилью, гвоздикой, грибами, орехами, изюмом, чаем, кофе. Товара в нем было на двадцать трюмов, и когда, бывало, войдешь внутрь, тебя сшибают с ног сотни запахов. А сейчас вместо товаров по земле толстым ковром расстилались пыль и зола, и в них нельзя было усмотреть ни одной чайинки, ни одного зерна. Все было съедено, унесено.

Несколько мальчишек с постными лицами бродили в пыли и напрасно искали съедобного.

На пороге широких дверей пакгауза, вырванных вместе с петлями, в уголку лежал, свернувшись в калачик, грязно-белый кот. Зарыв голову в слегка надувающийся бок, он чуть дышал.

Около лежала корка черного хлеба и стояло блюдо с водой.

– Мурзик! – вырвался радостный крик у Крысы. Он был хорошо знаком ему, да не только одному ему. Он был любимцем всех босяков на Новом моле и пятнадцать лет жил в этом пакгаузе.

Все ласкали его, заигрывали с ним, даже старые суровые моряки.

В солнечные дни его можно было видеть всегда на цинковой крыше пакгауза. Вытянув передние лапы, он принимал солнечные ванны, щурясь, мечтательно смотрел в ясную морскую даль и прислушивался к своеобразной симфонии порта.

Мурзик, когда его окликнул Крыса, лениво повернул голову, окинул его мутным взглядом и снова зарыл ее в бок.

Крыса не узнавал его; это не был прежний, живой, игривый Мурзик, а тень его. Он страшно отощал.

– Что с ним, Петр? – спросил он высокого пакгаузного сторожа.

Тот стоял против Мурзика с узелком под мышкой и смотрел на него с жалостью.

– Околеваает, – ответил он мрачно.

– Отчего?

– Не видишь?... С голоду. Я его водой отпаивал, хлебом кормил, – не помогает...

Да, он околевал!

Прошли для него «веселые дни Аранжуэца»! Когда-то лафа была ему, раздолье! Ешь сколько душевненьке твоей угодно!

А крыс, крыс-то сколько было!

Но исчез товар, исчезли вместе с ним и крысы, и ему ничего не оставалось, как околевать с голоду.

На фоне разгромленного и испепеленного порта этот околевающий кот был великолепен. Он как нельзя ярче подчеркивал его разорение.

Крыса нагнулся над ним, стал ласкать его и приглашать – «пей!», но он не слушал его.

Сторож глухим голосом рассказывал:

– Когда, значит, на набережной сделалось беспокойно, нам, сторожам, дали знать, чтобы закрыли двери пакгаузов. Мы закрыли и заперлись. Но вот они подошли к дверям и кричат: «Отопри!» Мы и открыли все двери, а вот эту они разнесли сами...

Пока сторож рассказывал, Крыса не спускал глаз с Мурзика. Дыхание несчастного становилось все слабее, слабее – бок его перестал вздуваться. От него веяло смертью...

Крыса глядел на него и думал, что и его ожидает такая же участь, и из его старческих глаз хлынули слезы.

Он оплакивал старый порт и ни на минуту не задумался над тем, что на пепелище и развалинах старого порта должен вырасти новый, молодой, здоровый...

Примечания

Работающий в зерновом трюме. (*Прим. автора.*)

[^^^]

Рыбные промыслы. *(Прим. автора.)*

[^^^]

3

Не правда ли, мама?... *(франц.)*

[^^^]